

Александр Миронов
Письма к Татьяне

2

10.07.78

Дорогая Моника,

я пишу тебе это письмо, сидя в своем темном углу, а вокруг бушует прелестное лето, полное ослепительного цветения. Цветет сирень, та звездная сирень, которую ты любишь. Распустился и благоухает шиповник. Кажется, будто все кругом ждет живительного грозового ливня. Но грозы все нет и нет. Изредка небо нахмурится, заохолдит, повеет озоном: значит, гроза где-то рядом, но миг — и снова солнце поджаривает город, шатаются пьяные от жары прохожие, изнывают цветы. В такие дни мне хочется пойти к Трем Озерам и, расположившись под кустом сирени, наклониться над водой. Разумеется, не для того, чтобы, очаровавшись своим отражением, упасть в воду. Но вдруг озеро явит далекую, недостижимую нимфу Эхо? Боже, но что творится вокруг! Почему никак не сосредоточиться, не произнести заклинание? Шум, гам, какие-то полуобнаженные люди того и гляди столкнут меня как есть, в одежде, в воду. Все ясно: это субботний досуг простого непоэтического народа — что ему до бедного орфика? Однако и это справедливо: жара такая, что можно осатанеть.

Начав с тургеневского описания, я, кажется, стал имитировать иронический стиль немецкого романтика. Что поделаешь! Такова изменчивая музыка моего теперешнего настроения. Все прекрасно, но я кажусь себе черной дырой, изъяном в цветущей полноте бытия. Слава Богу, что я не такой эгоист, как Поль Валери, а то я сказал бы, что само бытие есть изъян в чистоте Небытия. Полно, полно. Пора переходить к житейской прозе. Всю первую половину июня я долго болел и думал, что у меня, как и в прошлом году, началась пневмония. Но Бог миловал, Бог и твои чудные открытки, ясные ласковые слова. Я выздоровел, стал встречаться с друзьями и нашел, что все они в тяжелейших недугах. Как трудно все это описать в письме! Самые милые сердцу моему люди глубоко несчастны. Что же говорить о знакомых? Это какая-то бездна распада, хаос грубых невнятных отношений. И самое неприятное — то, как все это действует на меня: я словно разрываюсь между чудом бытия — звездопадом, цветением сирени — и этим хаосом, который к тому же заставляет меня общаться с ними на их языке, говорить ИХ ЗНАКАМИ. Меня словно бы нет, а если кто и замечает мое присутствие, то только телесно. Вместо душевного общения — набор жестов, грубые игры, в которых нет даже следа куртуазности, не говоря уже о любви, о доверии, которое является эманацией веры. Как будто находишься в Пантеоне: вот величественный Бог-паук, вот жестокая Диана, вот чуть облысевший Аполлон — все кривляются и просят жертв.

Господи, скорей бы пришел Тот, кто хочет Милости, а не Жертвы!

Есть, правда, у меня одно утешение: друг, о котором я тебе когда-то рассказывал — помнишь? — тот, который так любит Вагнера, «Тристана и Изольду». Мы часто встречаемся с ним в последнее время. Я хочу верить его искренности

и, если это возможно, сохранить от распада. Он доверчиво рассказывает мне историю своей любви, говорит о том, как она высветила и омыла его душу. Мне немного боязно за него — ведь я сам всю жизнь испытывал романтические крушения, пока не понял, что дело здесь не в других, а в самом тебе, в твоём самообольщении, в нарциссизме. Я пытаюсь шутить над ним и его любимой, а он, словно не слыша меня, бормочет какой-то бред: «Сирень, сирень!!!». Он и меня заразил своим восторгом. Мне захотелось увидеть его «Изольту» — она сейчас в отъезде (время летних отпусков). Я мечтаю, что она окажется более мужественной, чем он, в своем отношении к нему; что она простит ему все его романтическое ничтожество; что она станет ему Девой, Женой и Матерью. Я только сейчас начинаю понимать образ Девы Марии, ее терпение и жертвенность. Господи, но можем ли мы требовать чего-либо от своих любимых?

Я знаю, что тебе не слишком интересно читать все это, но этот человек, это мечущееся ничтожество стало частью моей души; я полюбил его почти из сострадания, и мне так хотелось бы, чтобы время не сокрушило их отношения, но соединило бы их, подобно его любимым героям, несмотря на испытания.

Мы гуляем с ним по Летнему саду и читаем стихи М. Кузмина «Форель разбивает лед». Какие это изысканные, дивные стихи! От них веет персидской сиренью и Востоком Омара Хайама; какая-то почти загробная мудрость старца, зрящего мир, как циклический метемпсихоз любви. (Очень напоминает по духу «Волшебную гору» Т. Манна.) Одна беда, что в них нет темы Искупления — они какие-то ветхозаветные, — однако, я думаю, введи он эту тему, и стихи потеряли бы свою прелесть. Как странно искусство соотносится с жизнью! Жизнь требует ясности, искусство нуждается в теневых образах, в фигуре умолчания; точнее говоря, последнее слово искусства — трагедия, некоторая неразрешимость, вопрошание о бытии. Недавно я посмотрел прекрасный фильм Висконти «Семейный портрет в интерьере». Первую серию я смотрел, затаив дыхание, но вторая стала вызывать во мне все большее разочарование, которого не упразднил даже искусный конец. Во второй серии появился избыток ясности, и мягкая условность образов утратила равновесие: все захромало, опустилось на костыли.

Зачем я пишу тебе весь этот вздор? В тысячный раз «открываю Америку». Я с радостью лучше переписал бы для тебя «Песнь песней» Соломона или стихи моего влюбленного друга, такие неискусные, наивные. Но что этот чудак может написать?! Все уже написано. «Слова, слова, слова», — как говорил принц: слова, умирающие, как цветы, когда они остаются в одиночестве. Они питаются силой слов Собеседника, Друга и тогда оживают — — — — — как говорил Лоренс Стерн — — — это цветет сирень — — — — — воскресший Нарцисс склоняет колени перед Эхо — — — — — со стороны Океана слышен запах амбры: это плывут греческие парусники, груженные нежными духами и вином Мнемозины. Никто не собирается торговать. Купцы входят в маленькую церковь и раздаривают весь свой товар молящимся. Идет странный пир.

Ну вот, пока я фантазировал, началась гроза с ливнем. Все оживилось, заблагоухало. На столе моем стоит чашка с клубникой, которую я собирался съесть. Теперь мне этого не хочется: так свежо она пахнет. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь пришел ко мне, сел напротив — тогда вкушение этих небесных даров было бы оправданным.

Милая Моника, прости мне рассеянный и сентиментальный тон письма — это негатив моего угнетенного состояния. Мне хочется многое написать тебе,

конкретно рассказать о своей жизни, я постараюсь собрать свои мысли и сделать это в следующем письме. Думаю, что я pošлю его почти сразу вслед за этим. Получила ли мое письмо твоя подруга? Как ее здоровье? Пусть она мне напишет. Некоторые трудности с ее почерком. Твой почерк я разбираю хорошо, а ее — с некоторым трудом. Может быть, у нее есть машинка с русским шрифтом? Впрочем, вопрос, наверное, идиотский. Во всяком случае, я буду рад получить от нее письмо. Но главное — пиши ты.

Можно ли мне мысленно и дружески поцеловать тебя?

Саша

5

22.08.78

Дорогая, хорошая моя,

только что отправил письмо в Мд. И получил от тебя, вернувшись домой, открытку с Покровом и все остальное. Такая ясность в твоих словах, так близки они моему сердцу! Все это живые воды для меня после мертвых. Может быть, действительно Бог право судит, погружая человека в собственную тьму, чтобы он измучился и еще сильнее ощутил свет Любви и Общения. Ты права, что комплекс неполноценности в любви самое страшное: тут как ни рассуждай — с фрейдистской ли позиции, с христианской — он представляет собой злую расплату за отъединение от любимого человека, за неверие. Такой человек впадает в дурной отвлеченный самоанализ, жиждящийся даже не на его собственном опыте, а на сравнительном опыте каких-то обезьяньих подобию — сплетен. Т.е. это все те же мертвые социальные стереотипы, за пределы которых он всю жизнь хочет вырваться, и Любовь — всегда движущая сила такого рывка. Погрешая против любви, он вновь попадает в ловушку самости, которая не есть его индивидуальное лицо, а скорее то, что Хайдеггер именует MAN — зыбкое марево греха и нелюбви, социального рабства и вечной оглядки. Я, конечно же, страшно не уверен в самом себе, и мне очень радостно, что ты принимаешь меня таким, и вовсе не обидно. Я и в друзьях своих всегда ценил именно неуверенность — это состояние мне казалось творческой средой для возможных изменений личности. Но неуверенность хороша там, где есть вера в Бога. Вне этого она становится тем пустым прибраным домом, о котором Спаситель сказал, что в дом этот возвратятся изгнанные бесы и приведут с собой новых, еще более злобных. И в мой дом они возвращались. Но теперь я буду делать все, чтобы они больше не вернулись, и я знаю, что мне это удастся благодаря тебе и постоянной памяти о тебе.

В Ленинграде стоит непонятная осенне-весенняя погода. Частые дожди, но по вечерам очень хорошо. Сегодня поздним вечером я возвращался после почты домой, народу на улицах было мало, и я подолгу останавливался перед каждым домом, ощущая тепло старых петербургских камней и словно выпадая из времени. Но к ночи все темнеет, тепло улечувивается и понимаешь, что на старых камнях новую жизнь не построишь. Город прекрасен, но для петербургского жителя сейчас он — Некрополис, мертвый город. Это чувствовали и Мандельштам, и Ахматова. Мандельштам просто воспевал его смерть: «Твой брат, Петрополь, умирает», а Ахматова пыталась найти мифическое утешение в цар-

скосельских липах. Увы, сейчас там и липы платные — 30 копеек за вход. Впрочем, Пушкин еще преисполнен ароматом тишины, там можно дышать, а парк все еще прекрасен, потому что местами заброшен и дик. Как-то недавно я просидел там почти целый день у цветущей заводи и впервые с ужасом понял, что не могу отличить одно дерево от другого. Кроме очевидно ясных деревьев — дуба, клена, ивы, березы и т.д. — других не знаю. Не знаю, где лиственница, где ясень. Прочел «Машеньку» Набокова и очень ему завидовал: с какой тщательностью он описывает природу, ее аромат, одновременно остро чувствуя и урбанизм с его гастрономическими запахами! Однако, если говорить о повести, меня несколько отвратил в ней слишком уж благородный и какой-то псевдодворянский тон, то, что мне страшно не нравилось в Тургеневе. Может быть, потому, что Набоков писатель по преимуществу «здоровый», описывающий здоровые чувства во всех нюансах, а меня всегда в литературе привлекали крайности, патологические взрезы. Даже у Толстого я люблю всего лишь одну «Крейцерову сонату», а она близка своей внутренней динамикой некоторым страницам Достоевского. Ах, да полно об этом! Тем более, что я и права сейчас не имею касаться литературы, у меня застой. А когда посещает творческое наитие, все высвечивается по-другому: начинаешь быть не литературным судьей, не просто читателем, а собирающей пчелкой. Ну и что с того, что один цветок не похож на другой, что в одном — нектара много, а в другом — мало? Летай себе, работай и бери все, что под руку попадется.

Вот так и живу. Вернее, не живу, а тешу себя надеждой на Жизнь. И опять не так. Живу, потому что помню о тебе и верю в то, что Бог помнит нас с тобой. Ведь это Он привел нас к Своему Алтарю.

Очень хочу отдохнуть и уехать куда-нибудь к морю. Может быть, удастся это сделать в сентябре, и я напишу тебе подробнее. Ты говорила о каком-то умном-преумном мастере по втиранию очков. Не можем ли мы с ним разминуться, если он все же собирается приехать. Напиши. О Габриэле и во что он одет я напишу в следующем письме. Вроде бы у него порвались джинсы (крепкие-прекрепкие, 46 разм. 4 или 5 рост). Бедный Габи! Но он не унывает, согласен и в таком виде целовать тебя. Только приезжай.

Люблю, целую. Иозеф (почти Joseph K.)

7

<Начало сентября 1978 г.>

Дорогая Таня,

я читаю и перечитываю твои письма — и новые «голубиные» и прежние — и ловлю себя на мысли, что мне хочется отвечать тебе тут же, не прерывая чтения, отвечать и спрашивать, и вновь ждать ответа: так живо звучит твой голос, что я чувствую, как пробуждаюсь от какой-то окостенелости, слышу запах сирени. Так много хочется сказать, так мало получается!

Все последнее время я находился в каком-то помрачении. Помнишь ли Ты слова: «Потерявший (или погубивший) свою душу обретет ее, а любящий ее — погубит»? Мне вдруг с ясной очевидностью представилось, что моя душа давно погублена, а новая (душа во Христе) еще не обретена. Это не резонерство, но очень сложное, трезвое и в общем верное ощущение. Везде — в общении

с людьми, с самим собой — я не вижу и не чувствую середины (той золотой середины, которая и является питательной средой общения). Либо полное растворение в Боге (громкие слова! можно вспомнить юношу, не пожелавшего оставить имя, хотя я и не владею никаким именем), либо — бездна, сам хаос, грех и чертовщина. Это чувство (потому мне так близок Кьеркегор) сопровождало меня все последние годы, но... встреча с одной моей знакомой после долгих блужданий (как встреча Улисса с Пенелопой) как бы переродила меня, и все это словно бы произошло без моего участия, как наитие, как неожиданный дар. Но старая рана — то место, откуда была вырезана (вытравлена) душа, заболело с новой силой. С новой очевидностью предстала мне «мерзость моего запустения», и я дошел даже до того, что стал представлять себя вампиром, человеком, который захотел вдруг жить за счет чужой жизни, жизни любимой, в которой жизни так много! Я представил себе, немея от ужаса, свое будущее разоблачение и возвращение (как в русских сказках) в отверстый гроб сумеречного существования, кол в груди. Я представил себе мысленно, как жертва моя вдруг прозревает (о нет, в этом прозрении нет ее вины, нет предательства!), как она начинает видеть то, что есть на самом деле: ночное, пресмыкающееся ничтожество, все сокровище которого составляют его претензии и злоба. Вот каков мой комплекс неполноценности (он настолько архетипичен, что его можно было бы назвать «комплексом Кьеркегора», если бы он не переживался так отчаянно и болезненно). Меня всегда влекло искушение детерминизма, и этот комплекс я бы назвал еще комплексом межкультурья, беспочвенности. Сейчас я туманно выражусь, но яснее, по-моему, сказать нельзя: это состояние как раз детерминированное выпадом из детерминизма — состояние изгоя. Все это тоже знакомо, но *здесь* это приобретает космические масштабы. Я не поверил бы тому, что пишу, если бы не написал этого *сам*. Ведь обычно, когда человек произносит подобные слова, он символизирует весьма банальные вещи — свою житейскую неустроенность или локальное несчастье. Я же никогда не пытался «устраивать» свою жизнь, а на собственные горести привык смотреть отстраненно. Тут дело глубже, но как трудно все это описать! Один раз и навсегда мир словно сторел перед моими глазами, и я почувствовал себя жильцом ПОСЛЕ ВСЕГО. В одном только смысле я продолжал существовать: в творчестве — но оно стало для меня типом эклектизма, эстетического разврата (опять Кьеркегор, а я уже успел его хорошо подзабыть!) или, как мы говорили, медиумического общения. Ведь ПОСЛЕ ВСЕГО нельзя творить, можно только отражаться в сотворенном (Нарцисс, Эхо, Зеркало). Эта зеркальная комната, в которой я жил, была моей мукой, особенно когда я думал о чистой деятельной вере. Если бес может стать монахом, то таким бесом я был. Хватало совести только на то, чтобы бежать от людей — ведь я ничего им не мог дать. Меня охватывала брезгливость от всякой непосредственности, я воспринимал последнюю как глупость, неопытность, растительное состояние души.

Но самое страшное мое банкротство заключалось в том, что я отказался от всякой созидательной работы в себе, от становления. Эклектизм стал не только моим приемом, но и принципом, философией. У нас с Витей К. шли постоянные споры: он говорил о том, что культура осеменена духом, а я твердил о том, что культура — это бесовская прелесть (разумеется, я и себя включал в область этой прелести), отвлекающая человечество в русло псевдоценностей. Но странно: если бы кто-нибудь говорил мне то же, что говорил и я, я стал бы

с ним спорить, говоря уже как Витя К. Марчелло мне потому и понравился, что в разговоре с ним я уловил тот диалектический цинизм, который близок и мне самому.

Впрочем, довольно об этом. Опять я пошел не в ту степь. Мы постоянно ускользаем от себя, боясь выговорить главное. Символизация — способ бегства. А главное — страх, страх быть узанным как ничто и оставленным. Страх перед невозможностью воплотиться иначе, кроме как в эклектичной игре смыслов. (Опять убежал!) Страх перед тем, что любимая перестанет зрить в тебе Бога (вот наконец договорился!). Но думается мне, что подлинной любви свойственно схождение во ад души любимого или любимой.

Дорогая Танечка, как нравится тебе весь этот сумбур? Увы, увy, я пишу сейчас почти как попало, что в голову взбредет.

Пишу в самый разгар толстовских торжеств. Радио величает графа как Мессию. А у меня к нему весьма двойственное отношение. Меня всегда удручал его морализм, но тут недавно я чуть ли не придумал штуку, которая по занудности может сравниться с лучшими образцами его морализирования. Скучный рассказ, который я, конечно, никогда не напишу. (Он вовсе не о нас.) Один мой знакомый, от которого ушла жена (не С., другой — у меня таких бедняг-знакомых пруд пруди), в разговоре со мной спросил, почему я не пишу прозу (он считает меня очень талантливым). Я спросил его, в свою очередь: о чем? — военный эпос? или взять поглубже, пораньше? Но тут уместней хроника. Нет, сказал он, возьми самую простую ситуацию, ну хотя бы мою. Я стал импровизировать, и вот что вышло: некий X знакомится с некоей Y. X воспитан на Домострое — он желает продолжать гражданский род — плодить себе подобных. Y полна женской мечтательной энергии, она все время мечтает о чем-то, вспоминает, а X-у (они уже женаты) вся эта белиберда не нравится: он человек прожженный, сухой.

Это вступление. Суть — их сексуальные отношения. Постепенно X теряет к Y сексуальный интерес. Как женщина она исчезает для него. Но X — моралист и поэтому не может ни пойти на измену, ни разорвать с нею. Он скорее готов терзаться мыслями о своей мнимой импотенции. X ищет выхода. Во время акта медитирует. Замечает, что, представляя других женщин в своих объятиях (в то время как он спит с Y), вновь обретает мужскую силу.

Но и этот возбуждательный условный рефлекс исчезает. Следующим этапом становятся мужчины (а спит-то он все с той же Y). Изживается и эта стадия. X чувствует свое сексуальное банкротство. Он ищет того, что могло бы его возбудить снова. Скотоложество, садизм (X — человек, способный к психоделии). И наконец, анонимный секс. X спит просто с дырой, с Ничто. Это повергает его в ужас. Что же будет потом, думает он, когда и Ничто перестанет быть предметом соблазна? И тут на счастье X появляется некий Z, его старый друг. Z чем-то напоминает Y своей душевностью, тонкостью. Между Z и Y возникает своеобразный и безобидный флирт. Вначале X раздражен, ревнует и боится, но потом вдруг его озаряет, что он может эту влюбленность Z и Y использовать как новый допинг. Не допуская большего сближения Z и Y, сохраняя прежнюю напряженность, он, как суккуб, вживляется в их отношения. Словно теряя индивидуальность (а она состоит в том, что ее у него нет), он становится наполовину Z — начинает мысленно жить его чувством к Y. Этот допинг действует на его мужскую способность дольше всего, но зато теперь его ласки тягостны для Y, которая в объятиях X(Z₂) представляет рядом с собой Z настоящего.

Х это знает и тут в силу идет все то, что раньше было психоделией. Реализуется его скотство, настоящий садизм. В результате все становится мучительным для всех. Z отстывает. Y чувствует душевную опустошенность, а X, напротив, обогащенный всем случившимся, обретает некое подобие души. Но тут-то Y его и покидает.

Танечка, прости мне этот бред. Но это в какой-то мере иллюстрация к моим представлениям о человеке-эклектике, о человеке-пустышке. Но этот человек взят здесь в трех измерениях; четвертое — вера в Бога — отсутствует. Это крайность, которой я в себе ужасаюсь. Знакомому моему эта модель показалась частной, но, по-моему, в этой частности есть образ всеобщего. Люди изживают смыслы в виде собственных иллюзий. Собственно говоря, иллюзия — сама суть феноменального мира, но мира с Богом, который учит людей посредством образов. Лишенная корня — Бога — иллюзия становится зеркальной игрой, плата за которую — реальная гибель, смерть Нарцисса.

Вера все животворит. Твое лицо мне видится совсем ясно, когда я стою в Церкви. Сегодня ты тоже была там, совсем рядом и — удивительно! — в той же самой дубленой шубке. (Это какая-то ошибка ангелов, доставивших тебя. Впрочем, заботясь о главном, они имеют право забыть о мелочах. Откуда им знать, что шубку ты подарила?)

Ты написала мне в одном из писем о своей жизни до нашей встречи. Я пишу тебе — очень плохо, символично, несвязно — о своей внутренней жизни, ибо прошлая внешняя жизнь для меня лишена интереса. Эта область, поле — словно находится от меня за тысячи километров. Местами это поле заминировано. Там взрываются кровавым фейерверком яркие мгновенья воспоминаний. Но объективно — когда я поднимаюсь над своей памятью — мое прошлое плоско и прозрачно, как и всякая глупость, как и любая война. Хорошее прошлое должно струиться свободно и легко, как ручеек Мнемозины, а для меня это — область хаоса, который можно рационализировать, но невозможно оживить любовью: «Я пирожных сегодня не ел, Альбертина». Поэтому мой рассудок монашествует и моя любовь (звездный мой цветок) тоже монашествует. Ведь монашеская схима — это образ погребения и рождения одновременно: погребения в прошлом и рождения в Спасителе. Встретившись с моей подругой, я почувствовал себя даже не новорожденным, но рождающимся в муках и слезах для жизни, которую я еще не вижу (слеп и связан нелепой пуповиной с той прежней жизнью, которая меня уже не питает), но предчувствую. (Ах, Господи, милостивый акушер мой, хлопни меня скорее по заднице, чтобы я заревел во весь голос и отворил zenки во всю ширь!)

Где же твой дублер? Когда я встречаюсь с ним в нашем романтическом фильме (ты ведь писала о том, что некоторые каскады — парашютные прыжки, бои на рапирах — приходится исполнять твоему двойнику T₂), все станет яснее. Я буду просить и молить Бога, чтобы Он просветил мою душу, чтобы Он помог Тебе (а в ноябре у нас такие праздники! Все ходят с шарами, с флагами!), чтобы двое стали едино, одна плоть (апостол Павел).

Я писал тебе, что потерял записную книжку, там были телефон Люды и ее друга с подшибниками вместо глаз. Но я схожу к Новиковым и все разужнаю. Давно никого не видел. Э-е не звонил. Буду звонить сегодня, когда отправлю письмо. Твои почтовые письма идут довольно долго. Вот еще что: Иосиф отправил 2 письма L.Z. Получила ли она их? Он писал также и Фиалке с Монмартра, когда она расцветала в тех краях. Обо всем этом я напишу

подробней и художественней в следующем письме. Ах, Мишель, Мишель, и ах, твоя мама, и ах, твой папа! — у нас бы он приобрел цирроз печени в два счета, но, видимо, ваши напитки лучше качеством. Я сам почти все внутренности себе испортил этим пойлом. Вечером в окно моей комнаты можно наблюдать прелестный пейзаж: пейзаже с бутылками падают в размокшие от дождя канавы, встают, снова валятся, и все они, разумеется, не отказывают себе в гениальности. Ведь гении здесь — что градусники: глоток — и увеличивается температура тела, ползет столбик ртути, в мозговой атмосфере происходят грозовые разряды.

Танечка, я закругляюсь. Уже поздно, и надо успеть на почту. Через час буду беседовать с Тобой, милой, нежной, утренней. 12-ть или 11-ть часов у вас там? Пока что здесь 18.00 вечера. Видел Jozerph'a. Он тоже хочет писать на днях.

Целую. Саша

10

16.09.78

Мой милый друг,

душевная смута моя немного улеглась, как пыль, прибитая дождем, но по-прежнему тяжело и трудно глядеться в осенний сумрак, думая о том, что нам предстоит. Ходил в гости, в тот уютный дом, где словно по мановению волшебника исчезают рубашки, но столь же чудесно появляются маленькие образки «Покров Богородицы», где милая и умная хозяйка, с которой так приятно говорить в отсутствие ее петушистого друга, готовит вкусный ароматный чай. Мы долго с ней сидели, болтали языками и головами, сокрушенно говорили — что делать? — глядя в дождливое окно, вспоминали майские солнечные дни. Она рассказывала мне, что в конце сентября, либо в начале октября ее должна навестить мама одной ее знакомой, а она сама — какая жалость! — в это время должна будет уехать в отпуск на юг, по путевке — возможность изменить что-то не зависит от нее: отпуска здесь запланированы вместе с путевками. Жаль, что теряется возможность посидеть и поговорить в уютном месте. Но думаю, мы что-нибудь сообразим. Мы также говорили с ней о многих сложностях жизни и судеб разных людей, в частности, о том, о чем я не успел рассказать тебе. Это, в некотором роде, ситуация, которая иногда получает криминальное развитие, о которой до поры до времени люди не думают, и только «пограничная ситуация» выявляет всю сложность обстоятельств. Ах, как об этом сложно писать! Прочитую лучше отрывок из романа Лотреамона (мой дурной перевод), этого великого человеколюбца, который, воспевая встречи влюбленных, дозволил встретиться на операционном столе зонтику и швейной машине. Представь себе, какова была их радость! Впрочем, к делу:

«Mona-Liza, разумеется, знала, что Leonardo — этот неутомимый подвижник кисти, подобно Улиссу, услышав вой сирен, неожиданно для себя попал в Maison de Santé, в объятия неумолимого Асклепия, пометившего его биркой с надписью “Аномалия”. В конце концов, каждый герой оснащает себя блестящими погремушками, значками, медалями, но знак Leonardo был каким-то таинственным образом связан с механизмом Адской Машины, и если бы он

собрался пуститься в плавание, Машина закричала бы всеми своими лопастями и колесами и втянула бы Leonardo-Улисса в свою змеиную утробу, и тогда Моне-Лизе (а она пока что была недостижима, как Луврская Богиня) пришлось бы обратиться к своему Отражению в зеркале, отражению, сходному с ней лишь именем, как t_1 может отразиться в t_2 — и просить это Отражение вызволить Леонардо из пасти Блудницы. Леонардо, со своей стороны, готов был объяснить отражению, что эта борьба необходима. Но как Оно, это бескровное Отражение, полное самолюбования, зачарованное путешествиями и встречей с Берегами Загадочной для него Страны, Страны Кровавой Реальности, — как Оно могло уяснить себе этот поворот винта-сюжета? Как могло оно предугадать сложность создавшегося положения? Да и способно ли оно на жертву ради Leonardo, ту жертву, которую с радостью принесла бы сама Mona-Liza, если бы она могла покинуть место своего пристанища, своего М.М. и сорокоградусного Пара? Нужны были силы, чтобы извлечь Leonardo с корабля Дураков. Но впрочем, что утешительно, Leonardo еще не видел отражения Моны-Лизы, а увидев, несомненно бы понял, на что Оно способно, и только малодушие да еще некоторая интуиция Реальности плюс тот опыт, через который проходили некоторые путешественники, — заставляли его предугадывать все написанное здесь ранее. Он был главным образом больше всего уязвлен тем, что Оригинал Его Мечты не может путешествовать так же свободно, как копии, бесчисленные литографии и чудовищные пародии Dalí и Дюшампа. Так, в душевном смущении, в ожидании явления Отражения, рассматривал он фотографии Оригинала своей Мечты, а за окном мириады небесных игл пронзали воздушное тело Сентября, иногда впиваясь и в его собственное тело, ставшее каким-то продолжением всечеловеческой муки, большой опухолью страны дураков».

Милая, прости меня за длину приведенного здесь отрывка, но ты, как и я, прекрасно понимаешь, что иногда невыразимая путаница человеческих чувств требует именно такого туманного лирико-поэтического пафоса, — получается гораздо яснее, чем на самом деле. Все это, конечно, достойно смеха, но, увы, «незримого смеха сквозь зримые слезы» — этот гоголевский афоризм любят повторять сентиментальные подвижники прекрасного на страницах газет, сравнивая слезы прошлого с восторгами настоящего. И то правда. Крестьяне получили свободу. Рабочие вступили в профсоюзы и окончили рабфаки. Осталось только пропеть Лебединую Песню. Опять я отвлекаюсь. Это перо — твое — заставляет меня писать глупости и притом весьма аккуратным почерком: дело в том, что почерк испорчен шариковыми ручками, а вообще я обожаю скоропись. Сейчас попробую. Помнишь, как у Достоевского в «Идиоте» князь Мышкин демонстрировал свою каллиграфию?

Образец для графолога:

Нет, не получилось. И как раз кончился чернильный столбик, но у меня их еще много. Это твоё *libido*, и я его берегу. Живу очень одиноко и больше время читаю, но тоже как-то нервно, почти через страницу. Хожу в Church — это мое утешение. Встречаю там братьев с бородами — С. и В. Гуляю с ними. Иногда они меня очень смешат, каждый по-своему, каким-то детским рационализмом. Вначале они были едины в своих представлениях, сейчас наблюдаются расхождения, но все-таки модели их мировоззрений сходны какой-то наивной завершенностью. Это вызывает некоторое трагикомическое чувство. В «завершенности» сказывается то, что они являются детьми некоего примитива среды, воспитания, школьных догм, а в «эсхатологизме» их мировоззрений живет чистейшая вера, доведенная почти до абсурда, до отрицания реальности. Но все же от них веет какой-то детскостью, чистотой, хотя иногда мне кажется, что, несмотря на седины, им еще предстоит приобщиться к тому трагическому элементу веры, который знаком мне. Почти месяц не видел Паука. Мы должны были с ним поехать в Москву (вместе с Дианой), чтобы читать у одного общего знакомого, в сентябре. Возможно, что он не дождался моего звонка и уехал один. Куда-то исчез Андрей. Его никто не может найти уже больше недели, и родственники обратились ко мне, думая, что я знаю, где он. Но я сам уже давно его не видел, потому что видеть его одно и то же, что впасть в «запой» и притом в страшноватом обществе, где кажется, что вот-вот случится свальный грех. Однако беспокоюсь. Придется попутешествовать по известным местам. Новиковы переехали. Вот их новый адрес: ул. Пестеля, д. 4/16, кв. 27.

Вот немногие нищие приметы моей жизни. Может быть, происходит и еще что-то, но все быстро смывается из сознания. В мае все было по-другому. Самое дурное чудесно высвечивалось общением с милым существом.

Я пишу тебе письма преимущественно по ночам, удивляясь тому, как быстро рассветает, но даже если ночью я и сплю, то просыпаюсь почти каждый час. Мне кажется, что так передается твоя память обо мне; ведь ты в это время еще бодрствуешь. Напиши мне тоже отрывок из книги, которую ты сейчас читаешь. Все хорошие книги чем-то похожи, но в атмосфере бесчеловечности они, наверное, чувствуют себя как сращенные сиамские близнецы. Злые безумцы ходят вокруг них и тыкают в них пальцами. Мне рассказывали об одном таком существе о двух головах. Оно подошло от тоски и скорби, умученное человеческим любопытством, проникавшем в запретный сад (при каком-то институте — физиологии, что ли?), чтобы тупо созерцать это «чудо». Моя скорбь тоже как змейка, стремится ужалить себя, как сейчас, когда я пишу этот бред. Главное не в этом. Я живу дорогим мне существом. Остальное можно списать за счет ночной усталости.

Пиши, пиши, пиши.

Целую тебя.

Joseph

17.09.78

Вчера не успел отправить Тебе письмо: Главпочтамт был уже закрыт, а в почтовый ящик опускать не хотелось.

Перечитал «отрывок» и решил, что перевод плох, но переводить с чужого языка так же сложно, как объяснять человеку, рожденному в другой стране, свои взаимоотношения со средой. Сложность еще в том, что ситуация, опи-

санная романистом, гипотетична, совсем как в жизни. Мы с Э. договорились, что зачастую все получается как Бог на душу положит — не предугадаешь. Жаль, что она может уехать во время гастролей American Ballet.

Ах, как, наверное, надоели Тебе все мои абстракции, эпистолярные пируэты и па! В Ленинграде настоящая осень и почти непрерывные дожди, суета сует. Утешает Премудрость Соломона и особенно Песня Песней.

Целую, J.

23

<Середина декабря 1978 г.>

Милая Таня,

получил твое письмо с фотографиями, волнениями, страхами и... любовью. Пишу и не знаю, что же так выравнивает — делает аккуратным — мой почерк: зимний ли пейзаж за окном, тихий такой, аккуратный, или хаос души моей — внутренняя метель косноязычия, успокаивающаяся в медленных движениях пера. Чем более упорядочивается моя «монастырская» жизнь, тем более чувствую я в себе этот беспорядок, хаос мыслей и чувств. Так уже не раз бывало со мною, но полная аналогия невозможна: и так, и все по-другому, — словно до необъятности расширилось пространство души, словно я попал в некое фантастическое время. Вот внешние проявления: стал я страшно болтлив и много, наверное, говорю лишнего, — потом, сообразив, сам от себя шарахаюсь (в себя же), как от кошмара. Радуюсь каждому «выходу в свет», случайному общению, разговору, — и все только затем, чтоб, оставшись одному, еще глубже осознать всю теперешнюю невоплотимость своей души — ее новое, глубокое и, наверное, последнее одиночество. Я боялся раньше писать Тебе в письмах это слово, мне казалось, что Ты можешь его неправильно истолковать. Но ведь пишешь же Ты мне о своих несчастливых контактах с окружающими Тебя людьми. А мне, в сущности, даже говорить не с кем. Либо разговор превращается в какую-то нехорошую игру, либо я, напившись и освободившись от всевозможных блоков, начинаю петь свою зимнюю медвежью песню, в которой так много твоих слов! Чувство полной невоплотимости здесь даже среди самых близких друзей и порождает это одиночество. (Все-таки нехорошее, неточное слово.) А и впрямь: с кем говорить? Женщины все истолковывают как-то хитро, по-своему: так мало подлинной женственности, отзывчивости, мягкости в них. Даже от Э. временами исходит какой-то холод, и чувствуется, что она не верит ни в меня, ни во все, что было, ни в то, что должно быть. А с мужчинами — у мужчин контакты слишком специфические, «мужские». Те же самые пороки: тщеславие, самолюбие, первенство, — здесь просто приобретают несколько иное (может быть, более интересное) измерение. Откровенность в этом мужском мирке есть признак поражения, и потому она тоже вызывает недоверие, совсем как враг, сдающийся только для вида, а на самом деле прячущий под пращей камень. О, я их понимаю! Ведь и сам я играл в эти игры: со мною делились — я иронизировал, ко мне приходили (душевно) — я сторонился. И все это не частные психологические наблюдения, а сплошная семантика отношений со своими скучными и, несмотря на это, необоримыми стереотипами. А теперь близких мне людей — ты догадываешься почему? —

приходится еще воспринимать и со стороны, с новой дистанционной точки, хоть сохранилась и старая. И они — самые близкие — тоже чувствуют это. Вот почему время мое такое фантастическое, а пространство кажется таким необъятным! И комната — моя — не моя, и все... Разве вот зима за окном — моя. (А об остальном «моем», обо Всем — Ты знаешь.) Вокруг все идет кувырком. Кажется, все мои друзья сошли с ума. Или просто я своими «новыми глазами» удивляюсь вполне обыденным вещам? Такой абсурд трудно описать. Это специфическая чертовщина, и я в ней кое-как еще разбираюсь, благо Гоголь и Ф. Сологуб («Мелкий бес») всегда у меня под рукой. Очень жалко всех, а меня и пожалеть никто не может. Кроме... Надо подумать, как об этом написать. Может быть, и придумаю. Вообще стало жалко всех на свете, и эту безысходную жалость можно вернуть только Богу. «Билет» я Ему возвращать не думаю — Он ведь с таким искусством сотворил меня — из такой грязи!

Это письмо мне хотелось написать очень просто, но не получается. Мне осточертели все мои философствования, даже в том случае, когда, на мой взгляд, они скрывают глубокий (для нас обоих) подтекст. Ты просила меня написать о моих страхах и волнениях. Они необъятны, необъяснимы, как и моя любовь.

Есть некоторая разница в наших письмах: Ты пишешь их, отрываясь от письма, но с постоянными мыслями об Улиссе. Я пишу Тебе письма «запоём», сразу, а потом словно с ума схожу — ношусь повсюду со своей М<оной>-Л<изой> или сижу неделями (кроме работы) дома в диком отупении. Все решено для меня, я уже — нигде, не здесь, «там», не там. А здесь все тот же Maison de Santé: никто ничего не видит, не слышит. И если раньше я в эту глухонемую жизнь как-то вникал, и трогало меня все, что происходит с ближними моими, то теперь я словно смотрю какое-то давнее, уплывающее от меня, уходящее, дикое кино: словно я уже достиг своей Беатриче и смотрю на все сверху, сквозь ореол ее сияния. Осталась реальность: тексты, стихи, слова, игра слов «здесь», воплощение «там».

Я в письмах к Тебе много шучу, почти «беспредметно», как бы не о себе и не о Тебе — и тут же шучу уже «конкретно» — чувствуешь ли Ты эти переходы, перепады? Вообще камуфляж Леонардо и Его Автора очень смешной и, быть может, предельно простой для «читателей». Что-то в этом есть, и я ощутил уже некоторые последствия: что-то (или кто-то) мне намекает о том, что дурака на мякине не проведешь. Особенно железного дурака. Вот примерно так и пишется мой Роман. Еще, правда, втесывается (от «тесак» — топор) иногда П., которого я успел (удивительно!) полюбить. Он хороший, но глупый. Тут он меня чуть не затесал (зарубил) в межконтинентальную историю с одним бельгийским дураком из Профсоюза (Рара знает). Ужасное быдло и «функционер». (Я это слово употребляю в том же смысле, что и Надежда, которая Яковлевна, Осипа жена и моя Вечная Вдова.) Таким образом он (П.) хотел помочь мне стать Леонардо (а я есть Леонардо — беспредметная шутка). Глупостей можно натворить много, это только может помешать. Иногда мне приходит в голову странная мысль, что читатели могут помочь дописать Роман, как это уже не раз бывало: вспомни журнал «Тель-Кель» (не знаю, как по-французски). Это значит: надо попасть в *аккорд с Читателем*.

Но довольно о моем романе. Вдруг и Читателя нет? И все это кафкианская история? Опять же, «философствование»?

Поговорим о Твоем Романе: (здесь я нутром почувствовал, что Читатель есть — заранее — это Метафизика Чувства, Страха, Ивана Великого, Твоего и

моего будущего и т.д. и т.п.): если Лиза так уж не годится в няни, если у Тебя исчезнут твои «этюды», дай об этом знать Тому, кто заместил Грека, — впрочем, параллельное развитие событий самое главное (удобно располагать фабулу). Дорогая, я пишу и забываю, что мои сокращения в русском лит. языке, само собой разумеющиеся, Тобой могут восприниматься совершенно в другом смысле. Я поясняю: будет удобно располагать фабулу. (Прости, я с ума сошел — это как «дилетант» или «абажур».)

Перехожу к самому простому (вот видишь, я опять все в *Языке* абстрагирую). Между прочим, если Тебе что-нибудь непонятно в моих литературных студиях, обратись... ну хотя бы к Сергею Осиповичу... (Я пишу много, очень много. Мало. Очень мало). В скобках: АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СМЫСЛА.

Всех любимых Тобою люблю, и люблю даже то — абсурдное — что мне не дойти до Тебя в Языке. (Пусть английский изучают Леонардо и Мона в постели). И Тебе не дойти до Меня (это факт, увы, — в Языке — но существуют Даль и Webster) — Всех любимых Тобою люблю.

Пишу проще, а получается Заумь. Люблю. Заумь. Люблю. Ум за ум заходит. Ходит ум и заходит в Люблю. (Полюби Андрея Белого — он иногда оказывает влияние на мой стиль.)

Проще простого быть не может: Я сижу и пишу Тебе письмо ночью, в 3 часа, а рядом в соседней комнате спят мои бессмысленные и простые родители, и они всё знают, но ничего не понимают. А завтра я встречаюсь с П. (он сказал: по важному разговору, — знаю я эти разговоры: «Ну, что Ты надумал?» и т.д. и т.п. Он — идеалист и истерик: то что ему не удалось воплотить в собственной жизни, он (бессмысленно) проецирует в другой (в моей). И вот за это я его полюбил. Можешь себе представить, за какие Ужасы (душевные) я люблю других?).

Но это *уже* похвальба: Я никого не люблю, кроме Бога, Его Матери и Одного Человека на Свете — и все-таки люблю всех. Милая, совсем просто: благодаря знакомству с луврской экспозицией я полюбил всю Мировую Культуру, я полюбил ее маленький бисер — брошенный перед свиньями.

Еще проще: сегодня я должен был зайти к моему новому приятелю, живущему в соседнем доме (я напишу о нем тебе), в 11 часов вечера и, естественно, с бутылкой вина. Но придя домой и прочитав твое новое письмо, естественно, никуда не пошел. Решил, перед тем как писать Тебе, помыться в ванной. Не получилось, помылся очень плохо. Сел и стал писать ответ на твое еще предыдущее письмо: начал его позавчера (вчера — работа — дым коромыслом — и другая муть). А новое уже стало вторгаться в это. А я отодвигал его как сладчайший десерт. Сначала нужно ответить (ответить? — смешное, нелепое слово), ответить на ТО, прежде!!!

Я ни на То, ни на Другое не ответил.

Я писал Тебе.

(Нет.)

Да, конечно, я выпил эту бесхозяйственную (по-русски лучше — бесхозную) бутылку (первое — сов<етизм>). И меня мучает совесть. К тому же, пить мне вредно: на теле образуется какой-то жировой слой, нарушается обмен. Слава Богу, вино было хорошее.

Ты пишешь, что не можешь сейчас (или иногда) представить себе, как я живу. Я живу сразу во многих мирах, но они — при всем различии — скучны и однообразны, так же пошлы, как и то, что ты ненавидишь. (Заметь, что

я не называю все нелюбимое Тобою по «именам», — мы должны любить то, что ненавидим, — Когда-нибудь Леонардо-Мона обменяются своей любовью-ненавистью, и этот обмен будет плодотворным: я знаю о твоей жизни — Ты знаешь (веришь — не одно ли это и то же?) о моей.) Мне понятно все, что Ты пишешь о своих «эмигрантах». Так и должно быть. «Отцы наши пили вино, а у нас на зубах оскомины» (по-моему, Исайя). Ты — милая и совсем русская, православная. А Улисс — как и всякий грек — путешественник. Везде и Повсюду Одна и Та же Церковь, Одна Молитва к Одним и Тем же. (Как стоят, крестятся, сборы собирают — неважно). Повсюду полно лицемерия, ханжества. Все это — ряженые бесы. И здесь тоже. И у вас (у нас). Всё — одно. Я чувствую, что устаю, становлюсь какой-то хитрой пишущей машиной, лишь изредка, словно по ошибке, выбрасывающей слова.

Люблю, целую. Саша

P.S.: Это важно для чтения — как у E. Dickinson — обращай внимание на заглавные буквы.

P.P.S.: Чушь!!! Ты все знаешь. Все Буквы — Загл<авные>.

25

10.01.79

Дорогая Танечка,

опять и опять жду твоего письма и не могу дождаться. Каждый вечер смотрю в почтовый ящик, но он пуст. В последнем письме твоём о птицах и кошках звучала такая лебединая печальная нота! Ты спрашиваешь, что такое Зверь, а между тем мелодия твоего письма так явно говорит о твоей сопричастности звериному миру! Займемся немного этимологией, конечно, не слишком серьезно. Но можно ли вообще заниматься ею серьезно? Слова трансигрируют с необыкновенной скоростью, и ангелам наверняка кажется, что люди говорят на едином птичьем языке. Это нам, бедным, приходится преодолевать столько барьеров, цензур, мнимых пространств. Итак, сопричастность. Счастье. Участье. Причастность — при части. Наконец, причастие — это уже не частность, а соединение в Одно Звериное Тело. Соборное Тело Зверя. (Ах, если бы в наше время не приобрела бы такое значение метафора, если бы слова, как знаки сообщений, не оказались бы такими плавающими, малозначащими — меня обвинили бы в ереси!) Но что же такое Зверь, как не мохнатое существо «с Верой», если допустить маленькую подтасовку согласных? «Верь» звучит как повеление, приказ, а З = С, словно намекает на присутствие в нашем существе некоей двойственности, инертности, противоречия. «С» — это «самость», которая еще не нашла пути своей индивидуации. Становясь личностью (обратная перестановка С → З), она сбрасывает Persona и становится Зверем, Степным Волком, Пауком, Петухом. Вот тут-то и становится необходим Зоопарк, «чтоб свободе, как закону, обучить / нас всех / любя» (О. Мандельштам). Разумеется, все границы в нем условны — ведь всякое самоограничение должно быть органичным, гармоничным, единственным в отношении каждого отдельного Зверя. Но обетование для всех одно — избавление от муки дурной бесконечности, соединение с Софией и Ее дочерьями: Верой, Надей и Любой (из них последняя больше). Вот я и думаю, почему я сижу сейчас и вою, глядя на Луну?



Не потому ли, что единственная моя, кобылица и колесница фараонова, волчица моя так печально глядит на осенний месяц (и вообще — бывает ли там зима?). Я нахожу, что Соломон довольно фриволен; по правде говоря, Екклезиаст сейчас ближе заплутавшей душе моей, закрученной снежными вихрями, утонувшей в каком-то недоумении. Ибо я — еще не там, но уже и не здесь. Даже встречи с людьми превратились для меня в какие-то погребальные обряды, словно я никого не узнаю. Э. мне сказала, что нашла «крючок» здесь, а я даже не знаю, что такое «крючок», — повис между небом и землей, в сознании что-то происходит, что-то сжигается, катастрофически рушится, и я перестал уже себя ловить, рефлексировать. Только надеюсь. Надеюсь. А крючков у меня много, и леска есть — голубая. Все это рыболовное снаряжение дожидается лета, но так не хочется ловить рыбу в одиночестве да еще и в мутной воде! Говорят, что одиночество — единственная вещь, которую невозможно ни с кем разделить. Я уверен в обратном. Мне часто снится какой-то домик за городом, женская фигура в лазоревом платье. Где все это находится — здесь, там, на седьмом небе? В июне здесь будет хорошо, и у меня есть возможность снять комнату в деревянном доме у знакомого, почти на берегу озера.

А пока что я по-прежнему считаюсь больным и освобожден врачом от работы, прохожу всякие анализы, рентген. Вечные подозрения на легкие! Очень не хочется опять заболеть пневмонией. Дома сидеть нудно. Мать Э., вероятно, светоч по сравнению с моими бронтозаврами. Они существуют внутри мифа, усвоенного раз и навсегда. Этот миф неуязвим даже в частностях. Это мои кривые зеркала, представляющие меня в каком-то невероятном гротеске, — мой дубль — удивительно смешное, безнадежное и глупое существо, если вникать в их описания и рассуждения. Наилучшим аналогом являются, вероятно, гоголевские типы отношений: тут и «старосветские помещики», и Коробочка, и Плюшкин. Это такой примитивный, рельефный, вещный план «мифологии». Но впрочем, почти всюду приходится себя чувствовать мифологическим существом, вместилищем чужих представлений. Как бы то ни было, как бы ты внутренне ни изменялся, для окружающих тебя людей более значим твой биографический портрет. Это несколько страшно даже. Я чувствую, что многие мотивы моего стихотворчества определяются рефлексией на эту биографическую проекцию. Так, например, я написал поэму «Осень андрогина», где символический травестийный план пародируется порнографической метафорой — вариантом «французской» любви, и один мой знакомый (мы долгое время были с ним в ссоре, и он совершенно не знаком с обстоятельствами моего жития) страшно меня разозлил, сказав (он хотел мне польстить), что мне удалось «выразить свой личный опыт»!!! Это для меня полнейший абсурд. А причиной тому — какие-то блуждающие сплетни, представления. Мона — это какой-то взрыв в моей биографии: я со смехом замечаю, что на меня начинают как-то коситься, тестировать, на что-то намекать...

А мне совсем не до этого. Хочется тишины, внимания, Ума, как говорит мой седой друг. На днях я все-таки дозволился каким-то чудом до Э. Вообще на все звонки отвечают соседи, говорят, что ее нет дома, особенно мужчинам. Ведь

почти через каждый час звонит П., так и не смирившийся с происшедшим разрывом. Да и к тому же подобное происходит не в первый раз: просто сейчас все случилось спокойнее — не ломается мебель, не устраиваются драки. Э. в отпуске, но опять никуда не поехала. Сидит как мышка дома. Очень нервная и истерично веселая. Мы пили с ней самогонку и болтали почти до трех часов ночи. Она говорила, что соскучилась без твоих писем, без твоего голоса. Нам страшно захотелось услышать твой голос!!! Напиши или сообщи телеграммой, когда Ты сможешь позвонить! Звони по тел. Э.: 2118897. Пока что я болен. Если это не воспаление легких, то после 16 января выйду на работу. Я буду работать 19, 22, 25, 28, 31 января и 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 февраля, т.е. через три дня. В любой другой день я свободен и могу даже остаться у Э. на ночь, если Ты будешь звонить ночью. Если днем или вечером, мы все равно как-нибудь с Э. договоримся, она отпросится с работы. Пожалуйста, миленькая, позвони. О, пусть мы даже будем лепетать что-нибудь совершенно бессвязное!!! Я хотел сначала сам назначить день, но потом подумал о твоей возможной занятости. Мы будем ждать твоего письма или телеграмму. 28 февраля мой День Рождения, и это будет лучший подарок. Пока что не знаю, буду ли я его праздновать. Витя уехал на три недели куда-то в Крым. Я хотел было обговорить с ним все то, о чем Ты писала, теперь придется это сделать по его приезду. Он давно меня приглашал съездить с ним вместе в Москву, к каким-то художникам. Возможно, мы это и сделаем. Здесь околачивается довольно много москвичей, и все они качественно отличаются от петербуржцев. Может быть, это условность, от которой мы никак не можем отвыкнуть, но, кажется, они более экстравертивны — в общении, в творчестве. Вместе с ними бродит дух попок и таксомоторов.

Рождество провел в одиночестве. В церковь еле попал. В такие дни — на Пасху, в Рождество — народ в церкви очень смешной: все ругаются, толкаются и тут же просят прощения, но вообще радостно наблюдать такое оживление. Словно некий дух Реализма восстановил связь между материей и духом. Сама теснота понуждает людей наконец-то обратить внимание друг на друга, отождествить себя с другим. Ханжеский дух очень силен, но так было всегда — это, видимо, переходная стадия религиозности, на которой большинство задерживается. Ведь истинное христианство — это еще и искус, соблазн, «меч разделяющий». Думается мне, что яснополянский граф искувился этим искусом и надолго задержался на формальной стороне, правда не без пользы: его критика компромисса церкви с государством очень точна. Сейчас все это стало имплицитным. Удивительно сложный вопрос! Я как-то слушал по «The voice of America» некролог митрополиту Никодиму, и он мне очень понравился каким-то действительно реалистическим пониманием дуализма этих отношений (по-моему, читал К. Фобиев). Здесь на первом плане не проблема обмирщения, профанации, «купли-продажи», а, скорее, проблематика Игн. Лойолы, ведь его «цель» действительно оправдывала средства. (Я писал Тебе как-то, что читал удивительно точную книгу, «Град новый» Федотова, — в ней констатируется религиозная ущербность исторического русского самосознания, отсутствие того мягкого перехода от Плоты к Духу, который может именоваться по-разному — Душевностью, Православной Культурой. И сейчас в этом смысле нет особой антитезы: переживается (может быть, наиболее остро) наследие прошлого, наследие этого ОТСУТСТВИЯ). За счет некоторого «лойолизма» Институт Церкви действительно укрепился, получил возможность экуменических контактов. С объективной точки зрения — это очень много. Американская

прав. церковь получила автокефалию, и тем самым опять же разрушилась известная напряженность. Впрочем, все это страшно сложно, а пишу я путано и невнятно. Важно одно: легкомысленно относиться к этому не стоит. Иерархи русской церкви — это Атланты, несущие на плечах почти невыносимую ношу. Тут как бы должно существовать два языка: язык официальный (лойолистский) и язык подспудных процессов (просвещенный демос).

До поры до времени они должны существовать раздельно, отъединенные некоей областью «замалчивания». Но я убежден, что скоро они встретятся. Папа J-P <Ioannes Paulus II> мне очень импонирует; в сущности, его избрание — действительно далеко идущее событие. Будущее покажет. Сейчас я читаю прекрасные статьи св. Павла Флоренского. По-моему, в Америке изданы его сочинения. Удивительный дар убеждающего слова. Меня так долго искушали всякие структуралистские тексты, что я почти забыл слова Соломона: «Уста говорят от избытка сердца». Дело в том, что для структуралистов, особенно французских, очень важна атеистическая предпосылка, чтобы подчеркнуть одноуровневую относительность всех символических описаний. У них вместо Бога — язык, а язык для них — майя желания и одновременно регламент социальных установок, т.е. нечто среднее между первым и вторым, подлежащее расшифровке. Мир — текст, а Бог — часть этого текста, блуждающее отражение Желания и Закона — их борьба. Потому Его необходимо поместить в горизонтальный ряд родственных Ему фетишей — Авторитета, Отца, Фаллуса и т.д. Все эти идеи очень соблазнительны и красивы, наверное, плодотворны в эстетическом смысле. Но описание мифологем — это всего лишь новая мифологема; а сама экспансия языка в мире останется навсегда загадкой духовных интенций человека. Я понял, что мое пристрастие к этим моделям есть отражение моего неверия, Недоверия к Слову Божьему. Флоренский также очень много пишет о символических описаниях, но для него они явления второго порядка, возводимые скорее к «архетипам» Дионисия Ареопагита. Это как бы избыток внутреннего языка сердца, хранящего Тайну, опытный полигон испытания душевных качеств. Интересно, что Дионисий Ареопагит интерпретирует грех как искаженное отражение ангельской добродетели; плотское желание — как отобраз Желания соединения с Богом, конечно, сниженный, падший. А у Фуко напротив — Бог есть маскировка Желания, темных влечений. Поразительное сходство и различие! Все это волнует меня не само по себе, а в связи с душевным процессом, в котором мне пока еще трудно разобраться.

Вот, опять я написал тебе темное письмо. Мне все письма свои к Тебе хочется до бесконечности исправлять, переписывать. Множество исписанных листков уже скопилось в моем столе. Почему-то жаль выбрасывать. Сейчас пойду отправлять письмо; буду зажигать спичку, заглядывать в отверстие почтового ящика. Я знаю, что Ты сейчас очень занята, но все равно пиши мне почаще. Пусть письма будут короткими, если у Тебя мало времени. Стихов в последнее время пишу очень мало, и все они какие-то странные, больные. Однако, многим нравятся. Витя пишет какую-то статью обо мне; читал мне отрывки — показалось каким-то плоским, тем, что я и сам бы мог написать. У меня совершенно вылетело из головы, что Стивен Дедалус — не Одиссей, а — Телемак — это потому, наверное, что уж Леонардо — точно Одиссей, а Лотреамон почти Леонардо. Прозу писать не могу — внутри нее надо жить, а жизнь моя — сейчас вовсе не моя. Интересно, чья? Четки с двумя лентами мне часто помогают, особенно, когда что-нибудь болит.

Целую. Саша

Дорогая Таня,

вот уже месяц, как я не получал от Тебя писем. Очень волнуюсь. Все время, когда бываю дома — дома почти не живу, часто ночую у знакомых — заглядываю в деревянный кошель: ничего! Разные тяжкие помыслы бродят в голове: думается, вдруг Тебя чем-нибудь обидел, вдруг надоело Тебе мое подлое нытье, и Ты почуяла в нем какой-то несуществующий холод? А оно, напротив, содержит в себе единственную внутреннюю тему: тоскования по дороговому другу, томительного ожидания. Но, конечно, инструмент, на котором эта тема проигрывается, расстроен, расщеплен: от письма до письма живу как во сне, и во сне сегодня, наконец-то, увидел Тебя. Мы просто смотрели друг другу в глаза, и я помню свою полную душевную неприкровенность, наготу, и недоверие твоего взгляда, вдруг осветившегося лаской... Верно, это мои помыслы заговорили во мне. Хочу писать связно, а не могу: связность бы запахла фальшью. Пусть будет так, как есть. На столе моем и повсюду в комнате — начатые образцы «связных» писем, прямо-таки арабески. Их скопилось много, и я не знаю, что с ними делать: выбрасывать — словно рассеивать свою душу, сохранять эти следы депрессии и вымученности — копить на Судный день вину. Пишу Тебе очень много, много. Но как не хочется облучать родное существо своей тоской! Каждый раз думаю: завтра — Воскресение, завтра душевная энергия потечет добрым, широким спокойным потоком, но, видимо, все обстоятельства ставят препоны, плотины. Этот месяц у меня самый крестный. Неладья и беспокойствие дома: я прихожу только на ночлег, но и выспаться не успеваю, убегаю то на работу, то в свободный день брожу по Эрмитажу, бытую у кого-нибудь в гостях, благо зовут, хоть я повсюду и ощущаю себя помехой какого-то давно начатого и бессмысленного разговора. Чтобы войти в него, надо вернуться в состояние своей же прежней слепоты — душевной куколки. А меня любовь моя, как Эпоха, расколола надвое, и милое домашнее существо, коим я был, стонет под гнетом другого, завихрившегося в каком-то космическом томлении. Для этого — нового — отовсюду тянет мертвечиной, и спасение одно — от субботы до субботы: алтарь и чаша над солеёй, где можно сбросить с себя все лишнее и попросить о Встрече, о совместном Причастии двоих, в том же Храме на том же самом месте.

У меня много неприятностей, о которых я не могу Тебе пока написать, по крайней мере в этом письме. Они отнимают остаток моего спокойного времени, надо разделаться с ними, чтобы не было хуже. Пасха — моя самая большая надежда на избавление. Предпасхальное время я всегда переживал крайне тяжело. В прошлом году я пытался строить параллели между событиями Страстной седмицы и событиями моей внутренней жизни. Получалось довольно удачно. Сейчас мне сама очевидность мешает заниматься подобным волхвованьем, этими детскими игрушками. Если освобождение явится так же, как в прошлом году, боюсь сойти с ума от счастья. Впрочем, какое же «освобождение» может явиться до встречи с любимым другом? Утешение, успокоение, облегчение? Да, наверное. На языке медицины эта штука называется эндогенной депрессией. Но не стоит искушать бесов: вдруг они используют этот термин, предъявляя счет? Одна надежда на благодать и провидение Господне.

В мае у меня образуется громадный отпуск, и сначала я все-таки вместе с В. побываю в Москве. Наша знакомая еще там. Витя привез мне Осипа — чудный дар. Потом постараюсь уехать на юг к морю, где «он» гулял с туманною монашкой. Море мне снится. И почему-то Бахчисарай, где я никогда, конечно, не был: кто-то водит меня под теплым дождем в тени белых цветущих деревьев, объясняя: «Это Бахчисарай». Впрочем, это понятно. Один мой знакомый, приехавший оттуда, с ужасом покрутился в Ленинграде, обозвал его «каменным кошмаром» и дунул обратно раньше времени, разом сорвав свои планы. Всю Страстную неделю в Ленинграде холодно после краткого тепла. Возвращалась вьюга, страшно выла в новостройках, перекрикивая кошек. Теперь стихла. Читаю сейчас с большим трудом, хоть и много. Обидно, что текст во мне не оживает, застывая в орнаменте слов. Прекрасен «Соглядатай» Набокова, но все же прав был один исследователь, сказавший, что Н., как никому из русских писателей, было чуждо чувство трагедии. Основа его мировоззрения, думается, Майя — своего рода: свободное бесстрастное перетекание — взаимодействие жизни и смерти. Но Бог с ним и Царство ему Небесное. — Это уже лишнее. Мне трудно сейчас что-либо серьезно осмыслить, лучше оставить на лучшие времена. Как же мне думать о долгом твоём молчании? Что Ты напишешь мне о лете, которое почти на носу? Я заканчиваю это письмецо. Стыдно, что оно такое нервное, разорванное. Но где-то я им доволен: музыка состояния моего слышится. А откладывать его, не завершая, боюсь: не отправлю, начну писать заново.

Целую Тебя.

Христос Воскресе!

Саша

34

07.05.79

Дорогая Таня,

писем твоих все нет и нет. Твое последнее письмо с советом «есть печень» ношу все время с собой — одна из моих паралогических «штучек» — может быть, думаю, оно магнитным образом притянет к себе и другие письма? Вообще писать очень трудно, когда не получаешь писем. Помыслы начинают метаться как зверьки, путаясь в зарослях страхов, подозрений. «Печень» тут, конечно, ни при чем. Несколько дней назад получил извещение с почтамта: вероятно, пришли сапоги. Но грустно опять же таки, когда нет писем, ехать их получать. Примешивается какой-то сюрреалистический момент: ведь САПОГИ ИЗ АМЕРИКИ — это почти ЛУНА ИЗ ГАМБУРГА или сам по себе путешествующий нос. Так получается, что вроде бы после нашего телефонного разговора Ты мне и не писала. Что же произошло? Может быть, я набормотал, наговорил какой-то ерунды? Но ведь мы так и договаривались — говорить ни о чем: «растолкать ночь, разбудить». У меня было тогда много неприятностей и некоторый план, которые мне не удалось ясно изложить. К тому же я почти пел каким-то неестественным тоном. У Э. сидели какие-то «страшные» люди, лишённые и элемента скромности; мне хотелось выть среди них волчьим воем, а после разговора я сразу же и ушел. Э. мне сделала изумительный по своей злобной иронии

подарок: мыло и набор бритв — намек на то, что мне снова стоило бы обриться наголо. При всей очевидной пустоте нашего с нею контакта — это меня несколько взбесило. Что поделаешь! Она относится к разряду тех людей, к которым мне трудно отнестись безразлично. Я ценю ее внутреннюю жизнь и чувствую ее напряженность. Тем обидней поверхностность в отношении. Этот случай дублирует многие случаи моих контактов. Мне нужно заведомо создавать вокруг себя защитную среду в отношении тех людей, которых я обречен любить. А Э. я все же люблю. Она также не получала писем от Тебя, но и сама, как говорит, давно не писала. Однако по телефону от Люды она что-то слышала о Тебе.

В существовании моем никаких решительных изменений. Все же этим летом собираюсь податься на юг, хотя уже такой отчаянной тяги, которая была ранее, нет. После Пасхи я действительно как-то ожил, обрел душевное спокойствие. Саму пасхальную ночь я провел дома в тишине, в полной темноте в едва ощутимом волнении: первая «медитация» такого рода. И действительно, вскоре почувствовал надвигающуюся мягкую волну благодати: вся бесовщина этого пропащего (пропавшего, сгинувшего в какую-то яму после прошлого светлого мая) года была прощена, отпущена мне. Вот только одно: мне казалось, что я сразу же на следующий день получу письмо от Тебя, но ожидание обмануло. Ну что ж, перефразируя поговорку, можно сказать: «Бог не так прост, как его малюют».

Видел недавно книжечку К.К.К. с дарственной надписью to T.R. Забавно. Очень живая мифологическая конструкция, и все одновременно и слишком похоже и чересчур непохоже на прибалтийский гадюшник. Что поделать? Таков ККК — детище поп-культуры, действительно немножко всеожженец и куклусклановец. Очень хорош петух, но портрет, увы, не полон, я бы добавил — крушитель унитазов по необходимости, а вообще-то прирожденный милиционер. Полиомиелитик, Деструктор, Беззубый Православный Гигант и Всеобщая Мать, за отсутствием кормящего молока пользующая своих детишек нищими чайными каплями. Представляю себе, какие лекции он читает!

Был на днях у Леночки Шварц. Ее обаяние и женственность начинают обретать превосходное материальное воплощение: она печет изумительно нежные пирожки с терпким восточным чесноком. К тому же она единственный человек, с которым еще можно говорить на одушевленном языке прошлого века. Очень любит юродивых и Ксению Блаженную. Она тоже говорит, что я для нее — последний из вымерших. Не вежливая ли это благодарность за мои льстивые слова? Но в самом деле, если не принимать во внимание «гадюшник» (коего и не было на самом деле — была дикорастущая нелепая словесно-растительная флора), живых «голосов» осталось на короткий счет. А Лена — это Голос — и поразительный. Беда, что мы обречены на редкие встречи. Частые — нас развращают: сказывается отсутствие того языка, который богослов Федотов называет душевным. Каждый совестный человек чувствует это и бежит Другого, особенно если он ценит свое общение с ним. В самом деле, от псевдометафизического вздора до плотского флирта один шаг. Общение секуляризуется. У Вити есть свои девушки и юноши, с которыми он пьет водку и слушает «поп-музыку», со мной же он предпочитает «общаться» и извиняется, когда «общение» не получается: приходит знакомый еврей, чтобы сыграть с ним в «скрэбл», и вот уже он разделяется на две равные части: одна часть хочет играть, другая — общаться. Мне что-то мешает существовать подобным об-

разом, а жаль. Если я впадаю в демократизм, т.е. пью водку и т.д., — то я начинаю падать в какую-то бездну со страшным грохотом и, что самое неприятное, с памятью о необходимости возвращения на круги своя. Ну Бог с ним, это все болтовня. Не болтовня то, что я страшно скучаю без твоих писем. Что бы ни было, пиши. Что бы ни было. Если Ты пришлешь мне пустой листик с обратным адресом, я и то буду рад. Но может быть, недоразумение, не доходят письма? Не «белое» же это и не «черное», которое нельзя называть. Или? Вы пойдете на бал?

Целую.

Саша

*Публикация и подготовка текста
Николая И. Николаева*